

LEONTOPIDIUM ALPINUM

(Последний лист)

- Ну, что мадам, Лизелотта?
- Да можно сказать, без изменений, господин профессор.
- Температура понижена?
- Как обычно, господин профессор. Но спали мы покойно и позавтракали вполне прилично.

Она приняла у него пальто и так старательно принялась разглаживать его отвороты, будто на улице шел дождь, и малейшая ее небрежность могла обернуться для высыхающего платья какими-то складками и морщинками. Но погода была превосходной, и потому в стойку для зонтов он сунул на сей раз свою трость, а папку, что занимала другую его руку, прислонил покамест к красного дерева трюмо с высоченным, до самого потолка зеркалом.

Затем он занялся ботинками. Длинная их шнуровка требовала некоторого времени, и он успел сквозь доминанту первоклассного сапожного крема различить благородный запах их кожи. Словно букет дорогого вина, подумал он и мысленно усмехнулся, потому что сравнение это почти всегда приходило ему в этот момент в голову.

Сменив ботинки на мягкие комнатные туфли, заботливо приготовленные для него Лизелоттой, он занялся своей внешностью. На улице не было не только дождя, но и ветра, и его уже изрядно поседевшая, но все еще густая, шевелюра сохранила прическу едва ли не идеально. Он все же слегка прошелся по ней – скорее по привычке, нежели из необходимости. Выбрит от был, как всегда, безупречно, с мешками под глазами все равно ничего не поделать, вот разве что рот... Чуть изменив напряжение лицевых мышц, он еле заметно приподнял его уголки и даже украсил лицо легкой полуулыбкой. Теперь он был полностью удовлетворен своим видом.

- Пожалуй, пора доложить о моем приходе.

Он перешел в гостиную. С тех пор, как Анна слегла, здесь всегда царила полутьма, всегда было тихо, и это позволяло ему сосредоточиться перед

первыми, самыми трудными минутами встречи. Их протокол, впрочем, давно уже был безмолвно, но твердо установлен, и скрупулезное его исполнение позволяло – не в том ли назначение всякого протокола? – маскировать, скрывать истинные впечатления от первого взгляда на больную. Увы, эти впечатления раз от разу становились все более горькими, и его острый взгляд профессионала лишь усугублял их горечь. Но протокол приходил на помощь, и, согласно его предписаниям, он после взаимных приветствий непременно находил возможность для двух-трех мажорных, оптимистических замечаний касательно ее настроения или внешнего вида. Это мог быть лучший, чем накануне, цвет лица (оба при этом старательно делали вид, будто не ведают, что лихорадочный румянец был одним из симптомов ее болезни) либо удачно подобранная блузка или еще что-нибудь в этом роде. Иногда, правда, Анне бывало настолько худо, что у нее, в целом стоически переносившей страдания, вырывалась в эти минуты жалоба, вздох или стон. Конечно, это усложняло его задачу, но за прошедшие месяцы он научился справляться и с подобными трудностями. Скажем, если она жаловалась на бессонницу, то почти всегда оказывалось, что дурно спалось и ему, и источником их общих бед объявлялась обычно погода. Но ничего, ветер, похоже, меняется, дождь перестает, и завтра все будет куда как лучше. Если же состояние атмосферы было безупречным, то являлось не менее убедительное рассуждение, что мы, человечество, далеко не все еще изучили в природе, и, возможно, какие-то отрицательные флюиды временно возобладали над положительными монадами, господствовавшими накануне, что и послужило причиной... Но опять-таки не следует слишком уж огорчаться, ибо, во-первых, и торжеству этих зловредных флюидов скоро наступит конец, и, во-вторых, человечество идет по пути прогресса, и не исключено, что еще мы с вами увидим, как люди научатся справляться с этими чертовыми флюидами – вот радости будет! Заболела голова – велика проблема! Нажимаете нужную кнопку, запускается соответствующий генератор, его действие нейтрализует влияние этих самых флюидов – и вы чувствуете себя, как новорожденный младенец!

Она улыбалась его речам – то ли оттого, что страстно желала избавления и потому готова была поверить в любые сказки, то ли, наоборот, сознавая комическое неправдоподобие его предсказаний. Но именно эта улыбка и была его целью, и потому легче становилось ему и мнилось – как склонны мы проецировать на других наши собственные мысли и чувства! – что и ей приносил он какое-то облегчение.

Затем наступало время новостей. Новости, естественно, были исключительно положительные. Их цель была все та же, ее улыбка, и для ее достижения годилось все, что угодно. Это мог быть рассказ о совершенно восхитительных устрицах, которыми вчера потчевал его приятель в, похоже, ему одному известном кафе. «Может, и вам принести? Уверен, такая легкая закуска не повредит вам, а лишь поднимет и настроение, и аппетит!..» Это могла быть совершенно секретная информация о выставке, которую втайне ото всех готовит один его немолодой коллега. Всю жизнь он писал суровые – и, увы, безумно тоскливые! – пейзажи, и вдруг на старости лет в нем

прорезалась страсть к изображению цветов, и оказалось, что они дивно ему удаются. Слышал, он отпечатал уже немало литографий, которых, правда, пока никому не показывает. Хотите, я постараюсь добыть для вас парочку?..

А иногда, если не подворачивалось ничего более занятного, он просто пересказывал ей какие-нибудь газетные сплетни. Их, разумеется, - газеты ведь потчуют нас почти исключительно всякими гнусностями! – приходилось тщательно редактировать. И он основательно поднаторел и в этом своеобразном ремесле, так что даже история с банковской аферой, стоившей денег изрядному числу ни в чем не повинных вкладчиков, превращалась в его устах в прямо-таки идиллический рождественский рассказ. И впрямь, давным-давно известно, что роскошные здания, повышенные ставки, агрессивная реклама разумного человека должны лишь насторожить, а что до ненасытных нуворишей, которых лишние полпроцента годовых лишают последних остатков рассудка, то стоит ли о них жалеть! Просто матерые волки слопали жадных и злобных волчат, из которых со временем выросли б еще более опасные хищники.

- Мадам ждет вас, господин профессор!

Проходя к ее спальне мимо очередного зеркала, он еще раз мельком проверил выражение своего лица – и очередной день начался. Сегодня она была особенно бледна, жизнь еле теплилась в ее измученном теле. Он едва пробормотал что-то насчет спокойно прошедшей, как ему сказали, ночи, но больше ничего придумать не мог, да оно, похоже, и не требовалось: какое-то подобие приветственной улыбки так, видимо, ее утомило, что она после этого словно оцепенела. «А, может, это из-за усилий, потраченных на переодевание...» - попытался он обмануть теперь уже себя и, стараясь двигаться максимально беззвучно, принялся за обычные приготовления. Он достал из угла свой легкий, «пленэрный», мольберт, который с начала ее болезни переселился в ее квартиру, расставил его, вынул из папки стопку чистых листов и установил их для работы. Из внутреннего кармана пиджака он достал с полдюжины карандашей, хотя для рисования он использовал только один, да и тот, понятно, можно было бы не таскать с собой, а благополучно оставлять его вместе с мольбертом здесь. Но повелось именно так, и он суеверно следовал раз и навсегда установившемуся порядку. Мольберт тоже ставился всегда в одной и той же точке, и потому и ракурс всегда оставался неизменным, и единственное, что он не мог фиксировать, было освещение. И еще ее черты. И бесчисленная череда его рисунков составляла журнал ее болезни, рисованную, так сказать, медицинскую карту.

А начиналось все с того, что, когда еще в начале осени у нее стали случаться эти недомогания и страшный диагноз не звучал еще даже в предположениях, он подумал, что неплохо было бы использовать предписанный ей покой для написания настоящего ее портрета. Конечно, за эти годы он множество раз рисовал ее, и карандашные делал наброски, и акварели, да и, собственно, вся их история начиналась тоже с портрета. Но это было совсем иное – заказной портрет светской дамы, исполненный еще молодым тогда, но уже довольно известным художником. Он ничуть не

стыдился этой работы: портрет был написан чрезвычайно добросовестно, манера автора («слегка подренуаренный Ван Дейк», как иронизировал один его языкастый приятель) была узнаваема, но не отвлекала зрителя от особы портретируемой, сходство поражало – в общем, это был один из наиболее удачных его заказных портретов. Один из наиболее удачных – но именно заказных. Этот, первый портрет и сейчас висел у нее в гостиной. Добротный парадный портрет, в солидной фигурной раме, висел он как раз над диваном, на котором он теперь каждое утро дожидался, когда Лизелотта пригласит его к ней. За месяцы ее болезни он ни разу не взглянул на него – вряд ли нужно объяснять причины, - но прежде всякий раз, как он бросал на него взгляд, он остро чувствовал, насколько поверхностно он передал тогда натуру. Нет, не черты, не осанку – все это он прекрасно помнил, и все было верно, - просто он тогда совсем не знал ее как человека, как женщину, наконец, если угодно, и это незнание било нынче ему в глаза. Насколько лучше он написал бы ее сейчас!

Поначалу она шутливо отнекивалась, говорила, что выглядит не очень хорошо, что ей жаль его времени, потому что она, как всякая женщина, не захочет «любоваться» на свой портрет, запечатлевший ее в наилучшую, мягко говоря, минуту. Вот скоро она поправится и тогда будет к его услугам. Сколько ему потребуется сеансов?.. Нет, дорогой, это уж чересчур! Чувствую, что вы до конца дней моих поработить меня хотите!..

Потом – роковой диагноз все еще не был произнесен, но выражение лица у доктора Фройденталья с каждым его визитом становилось все более сумрачным – ей было рекомендовано две-три недельки полежать: не исключено, что мы имеем дело с обычным переутомлением, и небольшой дополнительный отдых... И тут ему, наконец, удалось добиться своего. Конечно, речь шла не о самом портрете – нет, только предварительные наброски, поиски позы, ракурса, туалета. Он и впрямь не знал, как будет выглядеть портрет, его решение должно было возникнуть во время работы, и потому ему так важны были все эти подготовительные попытки. Она тоже увлеклась этой работой, позировала с книгой, с букетом, с любимым ею китайским веером. И тут, несмотря на весь этот маскарад, он обнаружил вдруг, что глаз художника – это инструмент не менее точный, чем медицинские исследования со всеми их анализами, прослушиваниями и простукиваниями. День за днем замечал он, как обостряется абрис ее лица, как все тревожнее бьется жилка на виске, как теряет еще недавно божественную форму ее грудь. К концу второй недели он не сомневался, что дело плохо. И потому, когда доктор Фройденталь под каким-то благовидным предлогом пожелал как-то поговорить с ним наедине, и страшное слово наконец прозвучало, он, опустив глаза, тихо проговорил:

- Я знаю.

Фройденталь вспыхнул. Подобно всем врачам, особенно его национальности, он прямо-таки дрожал над своим авторитетом и крайне болезненно реагировал на любые покушения на него со стороны пациентов и

их близких. «Если вы мне не доверяете... Я, конечно, и сам хотел консилиум, но, если так, я вынужден...» - проглатывая окончания фраз, загорячился он.

- Простите, доктор, но вы меня неверно поняли. Ни к какому другому врачу мы не обращались. Я просто... Я просто рисую ее. Каждый день.

Фройденталь водрузил обратно на свой массивный нос пенсне и пристально посмотрел ему в глаза. Обоим все стало окончательно ясно, и они молча обменялись рукопожатием.

Потом, конечно, был консилиум, все сошлись на том же, и были даже названы сроки – приблизительные, но крайне неутешительные: «Мы имеем дело со скоротечной формой, и здесь никакие Швейцарии... Больно признаваться, но в данном случае медицина, увы...»

Теперь уже был постоянно предписан постельный режим, назначены какие-то никчемные, по-видимому, лекарства, и жизнь остановилась. Несколько дней после консилиума он не мог брать в руки ни карандаш, ни кисть. Потом его озарило, что Анна может в этом почувствовать близость конца, и на другой же день он явился с альбомом. Он даже не спросил у нее разрешения – ведь прежнее согласие никоим образом не отменялось – и в этот день уловил в ее глазах выражение покорной благодарности.

Поначалу он делал довольно детальные рисунки, довольно тщательно прорабатывал драпировку, постель, другие детали. Но постепенно книги, цветы, даже ваза, все постепенно исчезало, все становилось ей в тягость, и соответственно все упрощался его рисунок. Пресловутый протокол распространился теперь и на его работу. Теперь это был поясной портрет, свинцовый карандаш, резкая локальная штриховка – и все. Внимание было почти полностью сосредоточено на лице. Вскоре он почувствовал, что ему нужен больший формат. И альбом сменился мольбертом, а бумагу он приносил с собой ежедневно.

Форма, к которой он пришел, требовала от такого умелого рисовальщика, как он, не очень много времени, и он стал рисовать два, три, четыре листа в день. Готовые рисунки он в той же папке относил домой и, не глядя, складывал в тот же день в шкаф, новую порцию поверх предыдущей. Не просматривал он и более ранние листы из постепенно росшей стопки, и не потому, что боялся сравнений, а потому что слишком хорошо знал, что увидит.

Шли дни, и его рисование все более приобретало маниакальный характер. Еще только заканчивая предыдущий рисунок, а то и где-то посередине он чувствовал, что в натуре – во время рисования она переставала быть его Анной, а превращалась просто в натуру – что в ней произошли новые изменения, и тогда он спешно, самыми общими линиями завершал этот набросок или вовсе досрочно освобождался от него и ожесточенно хватался за новый.

Теперь за сеанс у него возникало уже не три-четыре, а пять, восемь, а то и больше листов. Он чувствовал себя бегуном, бегущим наперегонки... Он отлично знал, с кем соревнуется, но из суеверия – которое и суеверием-то назвать не решался – запрещал себе произносить это слово.

И вновь протокол, подменяя признание очевидных причин, подчинил себе и процесс рисования. Для него отводилось время лишь до обеда. Лист, во время которого звонили два часа пополудни, становился последним. Пять, может быть, десять минут было еще в его распоряжении, он придавал рисунку сколько-нибудь законченный вид и тут же со словами «Надо же вам, дорогая, отдохнуть немного и от меня» прикасался губами к ее руке и уходил. Еще в начале этого рисовального безумия Лизелотта предложила, что будет готовить и для него, но он отказался, вежливо, но твердо, и больше этот вопрос не поднимался. Он шел в один и тот же ресторан, довольно дорогой – он мог себе это позволить, – садился за один и тот же столик с видом на озеро (место это всегда было свободно: по-видимому, они берегли его для него), заказывал, ориентируясь только на цену, что-нибудь из наиболее дорогих блюд и медленно, но совершенно не замечая вкуса, поглощал его. После этого он еще минут двадцать тянул чашечку чертовски крепкого кофе, который они тоже привыкли варить специально для него. Сигары он себе запретил, как только стала понятна природа ее заболевания.

Потом еще около часа он медленно прогуливался по набережной – благо, в эти часы там практически невозможно было встретить кого-либо из знакомых. Погода значения не имела: дождь – он совершал свой моцион под зонтом.

После этого он еще часа на два возвращался к Анне и читал. Первое время она просила его читать вслух, но потом пришлось отказаться и от этого: даже следить за сюжетом ей было уже утомительно. И потому он читал теперь уже про себя, молча, по-прежнему медленно, по-прежнему, как ему казалось, «с выражением» – которого, естественно, никто не слышал, разве что он сам.

Он все теперь делал медленно – все, кроме рисования. Но сегодня и рисовалось почему-то труднее, во всяком случае, медленнее, чем все эти недели. Анна лежала необычайно покойно, и оттого, что ни гримаска боли, ни мучительная попытка сделать глубокий, полный вдох, ничто из этих привычных внезапностей сегодня не отвлекало его, не заставляло бросать на полдороге неконченный рисунок и судорожно хвататься за новый, рождалась новая тревога, цепенящая, безысходная. И против нее у него оставалось лишь то же средство, и он водил и водил карандашом по бумаге, и ему казалось, что неостановимость этого процесса каким-то образом помогает ей, а через нее и ему – или наоборот: он не хотел, не мог в этом разобраться. Он знал, что должен рисовать – и рисовал.

Где-то примерно в половине первого, как раз посередине «сеанса», он вдруг услышал какой-то шум за окном. Это было странно: в этом солидном квартале не было ни магазинов, ни контор, а экипажи, увозившие и привозившие обитателей важных, надменных домов, появлялись здесь только утром и вечером. Все остальное время улица хранила безмолвие, и редкие, безукоризненно одетые прохожие, двигаясь, словно тени, лишь подчеркивали царящую здесь тишину.

Шум не прекращался, и в нем теперь явно слышались отдельные вскрики, визгливые, злобные. Анна не реагировала, она пребывала в забытьи, но он все равно встал и подошел к окну. Странно, почему ни швейцары, ни дворники... На противоположной стороне, несколько наискосок, жестоко дрались мальчишки. По первому взгляду, трое или четверо старались отнять что-то у еще одного. Тот был повыше, но на стороне нападавших был численный перевес. Ясно было, что они нездешние. Открыть окно он не мог, но надо было как-то прекратить это безобразие. Впрочем, его вмешательство не потребовалось: из соседнего дома показался, наконец, дворник, в фуражке, с огромной метлою, и вся орава опрометью бросилась прочь. Он не успел еще удивиться, отчего это все они, и нападавшие, и их жертва, помчались в одну и ту же сторону, как вынужден был спешно зажмуриться и даже защитно прикрыл глаза ладонью: в окно ударил острый солнечный луч.

Разумеется, он прежде всего обернулся к Анне. Луч упирался в стену, около которой она лежала, но проходил над кроватью и больную не беспокоил. И то слава богу! Его мольберту и подавно ничего не грозило. Значит, можно с ним примириться. Наверное, кто-то из мальчишек, удирая, выронил зеркальце или какую еще блестящую вещь, и вот теперь зайчик. Что ж, зайчик так зайчик.

Он возвратился к мольберту и минуты две сидел неподвижно: требовалось мыслями и чувствами вернуться к начатому рисунку. Нужное настроение пришло быстро. Когда временами он взглядывал на Анну, солнечное пятнышко всякий раз попадало ему на глаза, но ничуть не мешало: сказано, зайчик и зайчик.

Было уже почти два, начинать новый лист не имело смысла, и ему пришло в голову, что если это действительно зайчик – ну, а что же еще? – то он должен со временем передвигаться по стене. Солнце ведь движется по небу, и всякие там углы падения-отражения... Конечно, он не помнил, куда попал зайчик вначале, но – он подошел поближе – определенно, тот был в другом месте. Сейчас он упирался в небольшую ажурную рамку, обрамлявшую что-то голубенькое, и, будь это с самого начала, он непременно обратил бы на это внимание, как сейчас, когда он принялся разглядывать эту вещицу. На голубом, заметно подвыцветшем ситце были прикреплены три засушенных цветка. Три эдельвейса. Он сразу узнал их.

Это было через два года после ее знаменитого портрета, он прекрасно помнил то время – и время было прекрасное. По завершении работы она с мужем (тот был тогда еще жив) пригласили его бывать у них; помнится, они принимали по средам. Карьера его, пусть и успешно, но только еще начиналась, а дом был известный и уважаемый, и он принял их предложение не из одной только вежливости и симпатии. И впрямь, его визиты к ним повлекли за собой и несколько неплохих заказов, и новые полезные знакомства, и даже приглашения к участию в двух весьма значительных

выставках. В общем, в деловом плане все складывалось как нельзя лучше, но и помимо этого...

Надо сказать, он не чурался женщин, но и не гонялся за ними. Скорее, это им приходилось искать его внимания, и они не без азарта состязались на этом поприще. В самом деле, довольно уже известный художник, вовсе не стар (ему тогда немного перевалило за тридцать), отнюдь не урод – но, слава богу, и не самовлюбленный красавчик, которые к тому же, как правило, с большим интересом поглядывают на ваше состояние, - вдобавок образован, обходителен – да о чем еще можно мечтать! И он привык к такому положению, и оно вполне его устраивало. И потому некоторые знаки внимания со стороны его недавней модели нисколько его не удивили. Теперь он бывал с ними в театре, в качестве друга семьи ездил иногда к кому-то в гости, и все шло чинно, мирно и благородно – и совершенно целомудренно. До тех пор, пока...

В середине лета ее муж каждый год ездил на воды. У него были больные почки, которые через пару лет и свели его в могилу. Анна была значительно моложе, общество на водах было скучное, разговоры соответствующие, и, по супружеской договоренности, Анна проводила этот месяц отдельно. Обычно она уезжала в какие-нибудь более интересные места либо с родней, либо со сверстницами-подругами. Планировалась такая поездка и в этот раз, но ехать они должны были неделей позже. И за три дня до отъезда мужа Анна, улучив минутку, когда они остались вдвоем, глядя прямо ему в глаза, спросила, не хочет ли он пока, денька на три на четыре съездить с нею в горы. Подобные истории случались с ним и раньше, и – «мы люди богемы!» - он не увидел причин для отказа. И тут оказалось, что шале уже нанято, что экипаж заказан, что чуть ли не вещи сложены. И, едва проводив супруга, они двинулись в путь. И началось.

Безумие, конечно, избитое слово, но ничего другого не приходило в голову. Дни сливались с ночами, ночи превращались в дни. Проснувшись утром – впрочем, утро начиналось в районе полудня, если не позже, - умывшись ледяною водой и нарочито медлительно съев очаровательно примитивный крестьянский завтрак, они чинно – «мы ж укреплять здоровье приехали!» - отправлялись на прогулку, но после второго-третьего поворота кто-то из них не выдерживал, и какой-нибудь невинный, казалось, поцелуй мигом превращался в новую вспышку едва затаившегося пожара. Час проходил, другой - время для них не существовало, - они размыкали объятия и шуточно прислушивались к едва доносившимся звукам ботала:

- А что, коровки еще не идут за нами?

- По-моему, нет. И потом, с чего ты взял, что они такие суровые моралистки?..

Когда все же случались какие-то паузы и он на мгновение возвращался на землю, его, художника, всякий раз изумляло, как он не увидел в этой даме, в течение двух месяцев часами позировавшей ему, как он не разглядел, не заподозрил в ней этот вулкан страсти, это землетрясение, наводнение чувств. А еще говорят, что ты хороший художник! – усмехался он. Но в еще большей

степени изумлялся он самому себе. То, что происходило сейчас, открыло в нем другого человека, и он восхищался им – и боялся его.

Когда наступил день отъезда (уезжать надо было сразу после обеда), они условились, что, возвращаясь в цивилизованное общество, они сегодня обойдутся без привычных уже безумств: так, невинная прогулка, птички, цветочки... Конечно, из этого ничего не вышло, но, когда пора уже было возвращаться и она спешно приводила себя в порядок, он вдруг услышал:

- Но, дорогой, вы еще никогда не дарили мне цветов! Может, пора? В городе ваш букет может выглядеть немного двусмысленно!

Разумеется, он вскочил и оглянулся вокруг. Как назло, среди изумрудной травы не было видно ни единого цветка. Наконец, шагах в двадцати он углядел три беловато-сереньких звездочки эдельвейсов. Через мгновение он, церемонно опустившись на одно колено, уже преподносил их ей. Она, мигом подхватив игру, поднялась и, хотя не все пуговицы были еще застегнуты, столь же изящно присела.

- И вот вам, мой рыцарь, награда.

И подала ему руку для поцелуя. Его пронзило безумное желание большего, сейчас, в эту самую минуту, но, вероятно, их уже ждали.

Потом было еще много, и плохого, и почти столь же прекрасного, но все равно это мгновение так и осталось пиком, апофеозом: слепящая зелень альпийского луга и ее совсем еще юная фигурка, в простом грубом платье, с тремя эдельвейсами в руке.

С минуту еще он простоял, переводя взгляд с Анны на цветы и обратно. Потом, стараясь ступать бесшумно, вышел из комнаты. Прощаясь, он спросил у Лизелотты, сколько им надобно времени на обед и прочие процедуры. И сказал, что не будет задерживаться сверх указанного срока.

Излишне говорить, что свой обед он проглотил, не ощутив ни вкуса, ни насыщения. От кофе он, к немалому удивлению официанта, отказался. Правда, назначенный Лизелоттой час еще не настал, и пришлось еще сколько-то времени убить на набережной. По счастью, и в этот раз он никого там не встретил, потому что, случись такое, последовали бы неизбежные вопросы насчет его нервной походки и вообще довольно странного вида.

Когда, наконец, выждав, сколько велено, он вновь позвонился в дверь (свой ключ он заводить не хотел), Лизелотта сказала, что они все успели, но тут же он поймал ее удивленный взгляд: оказывается, один из ботинок он начал расшнуровывать еще в лифте.

В комнате Анны все было по-прежнему. Она не реагировала на его приход, и он тихо, но быстро прошел к своему стулу. Бумаги еще оставалось немало, но он чувствовал, что много ему и не потребуется. Мысленно он наметил два варианта, один с горизонтальным, другой с вертикальным расположением. Как будет лучше, он еще поглядит. А может, оба и доведет до конца. Не обязательно ж вешать их рядом. Но что было ясно с самого

начала, так это что писать он будет акварелью. Масло, естественно, дало бы более сочную зелень, но главное – это она, а здесь акварель уместней.

С вертикальной композицией все было ясно. Он посадит ее в правом верхнем, и платье плавными волнами полетит вдоль диагонали картины. В ладонях, легко соединенных у талии, свободно лежат эдельвейсы, слева от фигуры небрежно брошена наземь большая белая шляпа. Где-то вдали на склоне он несколькими точками наметит коров-моралисток, но это пока не ясно, может быть, лучше без них.

Он набросал задуманное на листе, и то, что вышло, ему понравилось. Композиция получалась спокойная, уравновешенная. Так и нужно: он не страсть хотел передать, не порыв, а любованье гармонией и красотой.

Самое время было подумать о цвете. Пожалуй, все было ясно и здесь. Он хочет воссоздать тот день, то блаженство, и потому ему и голубой нужен той же яркости – может, не яркости, а интенсивности, - что тогда. Конечно, сейчас под рукою один карандаш, но главное – это решение, а с ним все понятно.

Зелень... Ну, что ж, ему известны некоторые ухищрения, позволяющие и в акварели добиваться определенной мощи, так что и эти проблемы мы решим.

Да, прическа. Конечно, когда он подносил ей цветы, волосы у нее были распущены. Даже, никуда не деться от правды, несколько, так сказать, растрепаны. Но ему не хотелось никакого налета фривольности, хотя классическая прическа, в особенности, тех лет, могла бы засушить картину, что в еще большей степени противоречило его намерениям. Может быть, что-нибудь промежуточное? Скажем, стянуть волосы лентой на затылке. Пойдет ей это?..

В первый раз, как он сел за мольберт, он посмотрел на Анну.

Она уже не дышала.

Август 2012